— Спасибо, Володя, я пройдусь.

— Нога-то болит?

— Что нога, — видя, как от машины к машине мечется с фотоаппаратом Костя Шаймарданов и взывает: «Поехали, мужики, поехали! В трапезной на столах всего еще навалом! Не пропадать добру!..» — Что нога...

— Пройда! — поморщился Володя Горячев, услышав Шаймарданова, и, держась за дверцу машины, похвалился: — Мы теперь не в ресторане гостей принимаем. В бывшей трапезной монастыря! Квасом хмельным поим, преснушками кормим, бочковой капустой, грибами, ухой из сушеного снетка... Во, на каком уровне бьемся за прогресс и план! — Сердито хлопнув дверцей, усталый начальник умчался на машине доругиваться, достраивать, изворачиваться, сдавая объекты к сроку и досрочно, — словом, работать и соображать, работая.

Возле Сазонтьевской бани, уже закрытой, Сошнин наткнулся на пегую лошадь Лаври-казака, — тот никак не мог расстаться с дружками — дядей Пашей, старцем Аристархом Капустиным и еще каким-то устойчивым выводком бывших вояк, на глазах Леонида состарившихся. Леонид перехватил вожжи, развернул телегу, велел гулякам садиться, развез их по ближним домам, последнего потартал к жене — Лаврю-казака.

— Это ж он, сопляк, чуть тебя на тот свет не спровадил, а? Я, понимаешь, собирался к тебе в больницу, но конь же на руках, жена преследует. Ходу мне не дает никакого, особо по вечерам. Показаковал я по Вейску после фронта, ох показаковал! Вышел из доверия. Леш, а выпить тебе ни-ни? У меня есть. Во! — Лавря-казак вынул из-за пазухи бутылку темного стекла с наклейкой: «Деготь колесный».

— Нельзя, дядя Лавря, ни граммулечки!

— Вот, собака, как спортил человека! Леш, а ты, можа, моего рысака?.. Я, кажись, отяжелел...

— С удовольствием, дядя Лавря! Только я тебя домой сперва, ладно?

— Лады, Леша, лады. А раненье заживет до свадьбы. Заживе-от! Я эвон как израненный — и ничаво! Ни-ча-а-во-о-о! И выпью. И к старушонке еще ковды наведаюсь, хе-хе-хе. Прости меня, старого дурака, Леш! Вино хвастается. А баба счас мне такова бою даст, что фронт игрушкой покажется!..

Доставив Лаврю-казака до дверей квартиры, Сошнин поскорее скатился вниз и погнал лошадь, потому как жена фронтового казака, словно по сигналу боевой трубы, набрасывается на того, кто является с мужем. И кабы дело кончалось одними обвинениями. Можно и веника отведать.

Толсто обитая старыми спецодежными штанами дверь в нижней квартире была приоткрыта, и, как только двухпудовая гиря, еще до войны унесенная с товарного двора во вновь тогда построенный дом номер семь, бацкнула за спиной Леонида в почти напополам уже перетертый косяк, на привычный удар, сотрясший деревянное строение, выглянула бабка Тутышиха, поманила его пальцем:

— Леш! Леш! Подь суды! Полюбуйся! Че у нас есь-то! — и закатилась счастливым мелким смехом.

В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта Юлькина исполнилась — на ней был бархатный костюмчик темного, неуловимо-синего или черно-фиолетового цвета, с золотой полоской по карманчику и бортам. Но главное в туалете — штаники: с боков в ряд медные кнопочки, и здесь же — о, чудо, о, восторг! — колокольцы, по три штуки на гаче, но как они перезваниваются — симфония! Джаз! Рок! Поп! — все-все вместе в них, в этих кругленьких колокольчиках-шаркунцах, вся музыка мира, все искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее! Плюс к темному-то костюмчику белоснежная водолазочка итальянского происхождения, туфельки на дробном каблучке, выкрашенные золотом, пусть и сусальным, парничок шелковисто-седой, как бы нечаянно растрепанный.

— Ой, дядь Леша! — бросилась на шею Леониду Юлька. — Я такая счастливая! Такая счастливая! Это папа с мамой мне привезли. В Риге у моряков купили. Дорого, конечно, но зато уж!..

«Откупились! Опять откупились от родного дитяти!» — сморщился Сошнин, разжимая костлявенькие руки Юльки и снимая их с шеи.

— Задавишь еще от восторга чувств!

— И задавлю! И задавлю! — почти в беспамятстве взвизгивала Юлька.

На столе бутылка «Рижского бальзама», чекенчик беленькой, горсть копченой ряпушки, второпях, неумело открытая банка шпрот, яблоки насыпью, обломок рижского ржаного хлеба в бумажной обертке и еще что-то, крошеное, мятое, впопыхах на стол набросанное. «И от бабки откупились!» — отрешенно вздохнул Сошнин, изо всех сил изображая на лице счастливое сопереживание.

— Поздравляю, Юлька, поздравляю! Тебе очень идет! — как можно радостней говорил Леонид. — Женихи железнодорожного поселка, да что там железнодорожного, всех поселков! Всех улиц и районов города Вейска, считай что на шампур надеты! Шашлыки!

— Да ну тебя, дядь Леш! Всегда ты меня высмеиваешь. Нет, правда, идет, дядь Леш? Правда?! — отступая от него, как бы в шутку кокетничая, подергивала Юлька штанишки так, чтоб звенели колокольцы. Бабка Тутышиха от восторга приплясывала и била в ладоши.

— Выпей, Леш, со мною! Такая у нас радость! — предложила бабка Тутышиха от щедрот своих, налила в рюмочку одного только «бальзама». — Пользительный напиток. Тебе не дам! — вытаращилась она на внучку.

— А мне и не надо. Я пробовала — он горький. Шампанское — вот это да!

Леонид отлил из рюмочки, разбавил «бальзам» водкой и, наказав бабке не пить больше, собрался домой.

— Тебе, можа, Леш, сварить че надо? Пол вымыть? Мы придем. Цыть ты, мокрошшелка! — прикрикнула бабка Тутышиха на внучку. — Скидавай кустюм!

— Ой, баб! Я в общежитие к девочкам сбегаю, ладно?

— Ну, мотри! Одна нога здесь, друга там! — разрешила бабка.

Леонид, подавив вздох, поднялся к себе — времени без малого два часа ночи. Юная модница побежит показывать наряд, бабка тем временем добавит, уснет. Юлька явится на утре, может, и совсем не явится. Бабка заругается, зашумит на внучку, полотенцем помашется.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В железнодорожном доме номер семь, у сына своего, Игоря Адамыча, бабка Тутышиха появилась лет восемнадцать, может, двадцать назад, но казалось, что она тут жила вечно, никуда не уезжала и ниоткуда не возникала. А между тем у бабки Тутышихи была очень разнообразная биография и довольно-таки содержательная жизнь. Бабка Тутышиха говорила про себя, махая рукой за окошко, что она родом «оттэль, с западу». Была она буфетчицей при железнодорожной станции, рано пристрастилась к вину и мужскому полу — от увлечений такого рода до преступления путь близкий: сделала растрату и угодила перевоспитываться в женскую колонию, аж за Байкал. Там строили железную дорогу. Длинную. Работы было много. В основном земляной. Зойке-буфетчице дали большую лопату и поставили на отсыпку полотна. А она к тяжелой работе непривычна, с детства непривычна. Мать ее, повариха станционного ресторана, дочь никакой работой не неволила, известно издавна: у ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочь изважена.

Покидала Зойка лопатой землю день, другой, неделю — не нравится ей эта работа. И тогда мимоходом, совсем нечаянно, она стала «зацепляться» плечом за конвойного начальника и взвизгивать: «У-у, кареглазенький, чуть не свалил на землю. . .» И как ни туп был начальник конвоя, все же тонкий намек понял, пригласил Зойку к огоньку, дал закурить — не прошло и месяца, как Зойка-буфетчица с общих работ перевелась в столовую посудомойкой, ну, а оттуда рукой подать до заветной должности, до комсоставского буфета, где Зойка блюла себя, стало быть, помногу на глазах у начальства не запивала, с женатыми мужиками не гуляла.

Белокурая, востроглазая, телом кругленькая, беспрестанно улыбающаяся, когда кого надо подсахарить, рассыпающая звонкий беззаботный смех, она безбедно отбыла положенные три года и отправилась со справкою в кармане в направлении запада. Но ехать туда далеко, а долгожданная свобода манила соблазнами жизни. Ехала Зойка, ехала, видит: станция какая-то, возле станции сквер со скамейкой, на скамейке, обсыпанной желтым листом, сидят два мужика, меж них поллитровка, огурец большущий на газете и кирпич хлеба.

Зойка сошла с поезда и говорит мужикам:

— Налили бы.

Те налили. Разговорились. Хватилась Зойка — поезд-то ушел! Но она помнила, что он шел на запад, торопиться же ей было некуда и не к кому. И пошла она по линии, на закат солнца, где солнце закатывается, там запад — помнила она со школы. Шла-шла — притомилась. Видит впереди: будка стоит, желтым крашенная. Вокруг будки строения всякие, ограда, колодец сбоку будки, с ведром, собака на цепи сидит, на железнодорожную линию смотрит, кого-то ждет.

Зойка свернула с линии. Собака на проволоке как попрет, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку. «Ну, съешь ты меня, пес. А народу в Эсэсэре двести мильенов. Еще сколько останется? То-то! Всех не переешь!» Через какие-то минуты, все осознав, пес, как тот конвойный начальник, лежал у Зойки головой на груди, целовал ее в губы, облизывался сладостно, вилял хвостом, преданно взвизгивая.

В ограде, за постройками, курицы порхались, на задах, за дверью низкой постройки грузное тело завозилось и свинячьим голосом пожаловалось на одночество: «Ах-ах, ах-ах». На огороде, меж еще не срубленных вилков капусты, ходила корова, жевала что-то. Завидев Зойку, замычала: «Му-ы-ы-ы!»

— Мы, мы, — откликнулась Зойка, подошла, обняла корову за шею, слезой горемычных женщин прошибло. Ласковая, добрая корова была под цвет пожухлого листа, на лбу белая пролысина, и один у нее рог, как положено — над головой, бледным месяцем светится, другой почему-то впереди, почти на глаз упал, не иначе как хозяин пожевал его спохмелья.

Будка была не замкнута, Зойка вошла, осмотрелась. О две половины будка, с русской печью и подтопком. В первой половине, что потеснее, кухня со всеми принадлежностями; за перегородкой, сбитой из вагонки и обклеенной газетой «Гудок», горенка с казенной кроватью, со столом изо всего дерева. На окошке цветы, в простенке — рамы с карточками, справа буфет с посудой, слева шкаф, и вдоль стены деревянный вокзальный диван. На всех изделиях по дереву вырезано строгое «МПС», «МПС». . .

Ничего помещенье, обставленное, только на всем обиходе лежит отпечаток мужской грубой руки и пахнет керосином.

Однако поверх керосинного духу козырем все крыл запах наваристых мясных щей. Зойка заглянула в печку — так и есть! В загнете стоит чугун со щами, рядом, в сковородке, до корки запекшаяся драчена из картошек. Зойка проголодалась и все это приготовление из печи достала, найдя еще в сенцах кадку с огурцами и на печи в корзине крупные помидоры, иные уж с гнилью. Накрыла на стол гостья и остановилась середь помещения, соображая. В углу икона какой-то святой девы с угасшей синей рюмкой — лампадой. Зойка открыла сундук, придвинутый к заборке. Нет в нем искомого. Еще пособоражала Зойка и с гиком бросилась в сенцы, там ларь, возле ларя корыто с песком, в ларе керосин в бидонах, фонари, лопаты, путевые башмаки, фляги, банки, петарды и всякий железнодорожный инвентарь. Над ларем аптечка, и, конеч-

но, в аптечке — где же и быть-то ему больше? — спиртик в баклажке, в алюминиевой, тоже с буквами «МПС». Зойка развела спиртик в стакане, дождалась, когда возмущенный водою химический продукт поуспокоится, выпила его досуха и с большим аппетитом пообедала. Во щах был хороший кус свинины, она его братски разделила пополам, спиртику тоже еще развела и оставила на столе, закрыв бумажкой, чтоб не выдохлось питье. Подумав еще маленько, Зойка отнесла остатки еды кобелю, называя его Полканом. У пса было другое имя, но с этого дня кобель презрел его и забыл навсегда, приняв, будто награду, то званье, которым его нарекла гостья, как оказалось, долгая.

Прибрала Зойка на столе, спать захотелось. Открыла она постель — мужиком пахнет, наволочка давно не стирана и накидка тоже. Зойка достала из сундука простыню, наволочку, полотенце, сходила к колодцу, вымыла ноги, озырнувшись на лес, и повыше чего помыла, содрогаясь от холода, личико свое сытенькое, от воды заалевшее, руками погладила, по волосам гребешком прошлась, заглянув в настенное зеркало, подмигнула себе левым глазом — уж что-что, подмигивать она умела!

Адам Артемович Зудин — путеобходчик, как положено Адаму, был еще холост, Еву еще не приобрел. Наведывались иногда в будку Евы со станции либо из путевой казармы, что за двенадцать верст от его поста, но, быстро заглохнув в таежной местности от однообразной жизни, сбегали. И вот возвернулся Адам с линии, с железнодорожного обхода — мамочки мои! В его будке, в определенном ему железной дорогой казенном помещении, на его кровати спит Ева. Белокуренькая, лицом посвежелая. Святая женщина, не иначе! Вошла в жилище, все, что требовалось, нашла, покушала, выпила — и с половины все, с половины! Так и положено Еве: Адаму-работнику оставлять половину всего, потому что она и зовется половиной, — по-божески, по справедливости людям жить полагается, хоть на том, хоть на этом свете. Так рассуждал Адам, торопливо хлебая щи. На грудь из ложки лилось — не сводил с Евы глаз Адам, и, чем дальше хлебал, тем большая торопливость и нетерпение охватывали его. Бог! Бог это ему, мужчине, одичалому от одиночества, женщину послал. Он, он, радетель! От управления дистанции пути не больно какого товару дождешься, керосину, фитилей для фонаря — и то в обрез дают, струменту не допросишься, велят самому промышлять струмент, и корм, и бабу! А они, бабы, по железным дорогам не валяются. От гнетущей истомы отправится когда Адам в путевую казарму, в дождь, в мороз, в пургу, всякое бывало, но отломится ли чего, еще неизвестно, смотря по обстоятельствам.

Адам нервничал, ерзал за столом. Старый мужик, известное дело, и трехдневной каше рад, а тут?! «Да черт с ними, со щами с этими и с обедом!» Адам бросил ложку, путаясь в одежде, разболокся до исподнего, чистоплотно вытер ноги о половичок, приподнял одеяльце и осторожно вкатился в уютную, хорошо нагретую постельную глушь. Полежал, смиренно вытянувшись, Адам — не прогоняют. Тогда он придвинулся к Еве потеснее и услышал: «Ну, энти мужики! Ну звери и звери! Со стужи, с ветру... и холодными лапами сразу к живой теле!..»

Так вот Адам женился и сам себе удивился. Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся, и не раз, Адам за Евой с ломом и путевым молотком, подняв струмент над головой. Но догнать ни разу не смог. Шустра! Палил Адам в Еву из ружья дробью — промахнулся. Вешался Адам на турнике, перед окнами путевой будки — веревка оборвалась — и все через роковую, ослепляющую разум Адама страсть — любила Ева народ и народ ее тоже любил.

Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным именем — Игорь. Рос сынок на приволье хорошо, быстро, и Зойка возле него унялась, заботливой матерью сделалась, уж не метила улизнуть на станцию в буфет. Адам наметил план: смастерить еще двух детей, дочку и сына, чтоб закрепить за собою Еву. Да не дала она себя закабалить земными заботами и многодетностью. Когда Игорь вырос и был определен в железнодорожное училище получать профессию машиниста электровоза, запировала Ева с прежней силой.

Игорь Адамович уже определился с работой, женился, когда мать его объявилась в Вейске, в железнодорожном поселке, в доме номер семь, заявив, что мужик у ей был уже преклонных лет, когда она с ним сошлась, сносился до смерти и теперь она станет жить с сыном, потому как больше жить ей негде и не с кем.

И жила. Долго. Давно жила. И привычно совали за нижнюю дверь детишек жители восьмиквартирного дома, побежавши по делам, в кино, срочно куда-либо вытребованные, и привычное слышалось из квартиры Зудиных: «А-ту-ты-ту-ту-ты, а-ту-ты-ту-ты-ту-ты...» Это бабка Зоя колебала и подбрасывала на коленях чье-либо дитя, иногда по несколько штук сразу.

Была бабка Зоя страшенная сквернословка и любила выпить. Подвыпивши, пела частушки, чуть их подделывая «под приличные». Например: «Тятька с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой изгинаюся дугой». Будучи во зле, бабка бралась за воспоминания, как в колонии «ливер давили» рассказывала, по-человечески это значит — ухаживали за женщинами «своего мира» урки, бандиты, всякое отребье.

Ребятишки — народ творческий: бабкины частушки восстанавливали в подлинном тексте и горланили их на весь поселок. Володя Горячев ходил тайно к седьмому дому — заучивать фольклор бабки Зои, которая постепенно утратила подлинное имя, потому как народ плодился — бабкино «ту-ты, ту-ты, ту-ты» уже не смолкало ни днем, ни ночью. Долго бабка Тутышиха билась с приладом к «ту-ты, ту-ты», уж и так, и этак вертела она его: «А туты, туты, туты, потерял мужик путы, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел». Но ребятишки в доме номер семь и окрестностях

его не знали слова «путы». Бабка попробовала приставлять «уды», однако и тут что-то ее в тексте не устраивало, и тогда ум бабки, уже вплотную сблизившийся с детским, ступил на новаторскую линию, обогатил русский фольклор дерзким новшеством: «А туты, туты, тутыл, потерял мужик бутыл, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел».

Всех эта последняя редакция устроила, потому как в тексте содержался прямой намек на воздаяния и благодарствия. Все расчеты за помощь отныне осуществлялись с помощью «бутыла» — небольшого и неразорительного. Бабка Тутышиха, когда у нее появилась внучка Юлька, и сыну приказала: пенсию не зорить и в неделю раз выдавать ей четушку. Пенсия у бабки была небольшая, как помощнику путеобходчика ей определили рублей двести пятьдесят старыми деньгами.

С появлением внучки бабка смягчилась нравом, черные ее воспоминания погасило чувство светлой, пусть и бестолковой, любви к Юльке, или потускнели сами собой они, и, когда внучка была во здравии, а росла она хилая, плаксивая, в соплях всегда, бабка, прикрыв глаза, оживляла в себе совсем-совсем почти погребенное жизнью и годами. «Я на тым берегу черемуху ломала, а на энтот перешла — с миленьким гуляла». «Не стой на мосту — не маши хвурашкой, я теперя не твоя, не зови милашкой!» И с тихой, бесслезной печалью воскресила однажды: «Милая, красивая, свеча неугасимая! Горела да растаяла, любила да оставила. . .» Спела, вскинулась и, оглянувшись вокруг — не подглядывает ли кто? — наморщенным лбом уперлась в стекло того окошка, которое было рублено туда, на запад, на родину, давным-давно ею покинутую.

Юлькина мать — женщина конторская, часто болела, рожать ей было нельзя, но она надеялась с помощью родов оздороветь и оздоровела настолько, что стала ежегодно кататься по бесплатному железнодорожному билету на курорты, с мужем и без мужа, и однажды с курорта не вернулась, говорили, утонула в Черном море.

Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолидневший, с хорошей профессией и большим заработком, долго не вдовствовал, учительница школы рабочей молодежи, где он добивал среднее образование, Викторина Мироновна Царицына, с самой ранней молодости, с пединститута еще, имеющая двух девочек-близняшек, Клару и Лару, быстренько помогла ученику с образованием семьи и по части всякой иной грамоты.

У Викторины Мироновны была квартира в управленческом доме. Игорь Адамович скоро позабыл номер старого дома, и осталась Юлька при родителях, считай что, сиротой, на руках великого педагога — бабки Тутышихи, которая материла внучку за отставание в учебе, гонялась за ней с полотенцем, если та не слушалась ее.

На шестнадцатом году, видя, что Юлька начала охорашиваться, подглядывать за мальчишками и спать неспокойно, бабка Тутышиха сравила внучку какому-то пьющему проходимцу, и синюшная лицом, тонконогая, недоразвитая Юлька, из-за умственной отсталости не удержавшаяся даже в пединституте, приткнута была Викториной Мироновной в училище дошкольного воспитания и маялась там который год, мучая себя и воспитательные науки. Родители Юльки, подрастив двух дочерей в управленческом доме, возлюбили путешествия и отдых в санаториях, жили в свое удовольствие, катались вокруг Европы и по ближним странам, завели дачный участок, увлеклись цветоводством. Юлька тем временем добивала себя с кавалерами, среди которых, вспомнил Леонид, случался и тот модник в дубленке с гуцульским орнаментом. Он, поди-ка, Юльку и поджидал с гоп-компанией под лестницей, да тут и нанесло Юлькиного верхнего соседа.

Бабка Тутышиха жить без Юльки не могла, учила ее уму-разуму, будто фельдфебель в пехотной роте, не подбирая выражений:

— Ты перед каждым-то встречным-поперечным не расщаперивайся, — зычным голосом корила она внучку. — Ты строк отшшытывай или анпулу проглоти.

— Капсулу, бабушка. Ампула в стекле.

— Ну и што, што в стекле? Раз отмаесси, потом зато те свобода. А это что же за моду взяла — кажин раз пятьдесят рубликов! Где отцу на вас полсотских набраться? У ево три халды, и усе похотливые. И в ково токо удались? Я вот удала была, но ум имела! У тэй-та, у царицы-та, дочки учительши, а кунки у них тоже веселы. . .

Спит бабка, поднабравшись вкусного «бальзама» и прикончив чекенчик. Юлька переполошила своим нарядом подружек из общежития училища дошкольного воспитания, примерно такого же уровня ума и духовных запросов, как у нее. Все еще зудит и пытается поставить на путь праведный дядя Паша потерявшего «облик совести» старца Аристарха Капустина, рыбака-стервятника, черпающего веснами рыбу в заморных прудах и озерах, балующегося «телевизором», «косынками», — так недолго до взрывчатки докатиться и угодить в тюрьму. Лавря-казак, выдержав извержение вулкана, дожидается часа, когда расплавленные породы остынут и осядут в нутро клокочущего кратера, на цыпочках прокрадется в туалет, где за журчливым унитазом, среди бутылок с красками и пакетов с порошками, стоит сосуд с деловой наклейкой «деготь колесный» — клятая капелюшечка никак не дает ему сонно расслабиться. В Доме ребенка спит не спит тетя Граня, чутко сторожа сон малых людей, осиротевших в несчастье, брошенных или пропитых мамами и папами.

Запираются на ночь клубы, стадионы, рестораны, библиотеки, Дворцы культуры, но летят самолеты, идут поезда, стоят на посту часовые и сторожа. Где-то в тюремном вагоне тесно спит с такими же, как он, хануриками Венька Фомин из Тугожилина и не знает, куда его везут. А везут его далеко и надолго — остатков уже шибко траченной жизни может ему не хватить на возврат.

Крепко запершись на деревянный засов и на желез-

ные крючья, врозь улеглись в жарко натопленной избе супруги Чащины, вздыхает украдкой, чтоб не потревожить «самое», перемогает бессонницу Маркел Тихонович, тоскуя по внучке, думая о зяте и дочери, может, и фронт вспоминает — вслух, прилюдно он отчего-то вспоминает войну редко, вздыхает лишь иногда: «Не приведи, господи, еще раз такое. . .»

Уторкав вундеркиндов, сонно перелистывает затасканную рукопись некоего Сошнина мыслительница и толкач местной культуры Октябрина Перфильевна Сыроквасова.

Большой начальник Володя Горячев правится спать и, как ему кажется, про себя выражается по адресу гостя и всех порядков, не им заведенных, но в невесомость орбиты его втянувших. Алевтина Ивановна, путающая зычные голоса покойного мужа и богоданного сыночка, наглухо накрывает внука Юрочку, отворачивает от его лица голубой огонек ночника, смотрит на заоконный уличный свет, думая о детях вверенного ей Дома ребенка, где она, ровно бы искупая вину за нерожалость свою, пытается стереть из жизни и памяти детишек немилосердность беспутных и преступных женщин, выправить их дальнейший жизненный путь.

Лерка и Светка, уработавшись, спят обнявшись на тесном диванчике в тесной и душной комнатушке, в многолюдном каменном бараке, согласно новой эры ловко переименованном в жилище гостиничного типа. «Все эры, эры. . .» — вспомнилось Сошнину.

Кто-то на дежурстве по отделению сменил Федю Лебеду? Кого-то побьют или изувечат ночью три добрых молодца, уязвленные в доме номер семь и от уязвленности жаждущие мщения?

Качается за окном фонарь, крошатся от ветра сосульки. Пробуравил лобовым прожектором, успокоил басом ночных пассажиров электровоз, на котором после отдыха в модном прибалтийском санатории, быть может, в первый рейс ушел щедрый отец Юльки. Все реже на улице прохожие, все медленней кружение Земли, и Лерка со Светкой все спят, спят. . . «Я знаю, вы лукавите со мной. Уж сколько раз давал себе я обещанья уйти, порвать с обманщицею злой. Но лишь у нас доходит до прощанья — как мне уйти? Смогу ли быть с другой? . .», «О господи, и что за способность у человека запоминать глупости, видеть то, чего не надо видеть, жить не так, как добрые люди живут, без затей, надломов, просто жить. . .» — успел еще подумать о себе отстраненно Леонид и, кажется, поспал всего несколько минут, как вдруг его сбросил с дивана тонкий вопль — кто-то кого-то терзал, или поздно и тайно возвращающуюся домой Юльку сгреб какой-нибудь забулдыга и поволок под лестницу.

Натягивая штаны, Сошнин с удивлением смотрел в окно, за пузатый «гардероп», откуда льдиной напирал холод рассвета, как дверь, которую он забыл закрыть, громыхнула, через порог упала и поползла, протягивая к нему руку, Юлька:

— Дядя Ле! . . Дядь Леш! . . Бабушка. . .

Сошнин перепрыгнул через Юльку, махом долетел до нижней двери, распахнул ее.

Бабушка Тутышиха, сложив маленькие, иссохшие ручки на груди, с доверчивой и приветной полуулыбкой лежала на кровати поверх одеяла, в верхней одежке, в стоптанных тапочках, полуоткрытым глазом глядя на него. Леонид защипнул холодные веки бабушки Тутышихи, поболтал керамическую бутылку из-под «Бальзама рижского» — бабушка не послушалась наставлений его, прикончила «пользительное» питье.

Ему бы ночью изъять «бутыл» у бабки, так нет, у него свои дела и заботы. У всех свои дела. Скоро никому никакого дела друг до дружки не будет.

— Перестань! — прикрикнул он на скулящую в дверях Юльку. — Дуй за отцом, за Викториной Мироновной, гуляка сопливая! Что вот теперь без бабушки делать будешь? Как жить?

— О-ой, дядя Леша! Не уходи. Я бою-уся-а. . . Не уходи. . . — набрасывая шубенку, не попадая в петли пуговицами, частила Юлька. — Я счас. Я мигом.

Провожали бабку Тутышиху в мир иной богато, почти пышно и многолюдно — сынок, Игорь Адамович, уж постарался напоследок для родной мамочки. Хоронили бабку на новом, недавно подсоединенном к старому кладбище, на холме, да и старое-то началось лишь в сорок пятом году, тоже на голом, каменисто-глинистом холме, но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью семенами прилетевший из заречья и с охранной лесной зоны города Вейска, с железнодорожных посадок и просто притащенный с землею на обуви, на колесах телег, грузовиков и катафалков, — жизнь на земле продолжалась, удобрения в земле прибавлялось. Все шло своим чередом.

Бросив горсть земли на обтянутый атласом гроб бабушки Тутышихи, Леонид напрямки, по снегу, валившему после оттепели, обрадованно и неудержимо пошел к старому кладбищу, отыскивая взглядом толстую осину-самосевку — ориентир на пути к могиле матери и тети Лины.

Возле свежепокрашенной, ухоженной оградки увидел качающуюся по голубому снегу косошеюю тень в железнодорожной шинеленке, в беретике и не стал мешать молиться тете Гране, прошел мимо, удивившись лишь тому, что тетя Граня, женщина крупная, сделалась со школьницу ростом. Фотография Чичи на пирамидке выгорела или обмылась дождями и снегом до серого пятнышка, но тетя Граня все еще, видать, узнавала в том пятнышке мужа, молилась господу, чтоб он простил его и в свой черед не забыл о ней, грешнице, прибрал бы тихо, без мучений; горсовет в порядке исключения, за все ее труды и жертвования в пользу общества, разрешил бы похоронить ее на закрытом кладбище, рядом со спутником жизни, какого уж ей бог послал.

В оградке матери и тети Лины толсто лежал снег в крапинках копоти, долетавшей сюда из городских труб. Леонид не стал отматывать проволоку на дверце оградки, не вошел в нее. Взявшись за острозубые пики, приваренные электросваркой к поперечным угольникам, стоял и смотрел на это тихое место, пытался и не мог вообразить, как они там, дорогие его

женщины, под снегом, в земле, в таком холоде существуют? И ничего нельзя для них сделать, ничем не возможно помочь, отогреть, приласкать. Что же такое вот этот день, небо высокое, яркое от снега и вдруг прорвавшегося с высоты солнца и это вот густонаселенное кладбище, в утеснении которого лежат под снегом и не подают голоса двое никому, кроме него, Сошнина, не известных людей? Где они? Ведь были же они! Были! И люди, все люди, что вокруг лежат, тоже были. Работали, думали, хлопотали, плодились, добро копили, пели, дрались, мирились, куда-то ездили или думали поехать, кого-то любили, кого-то ненавидели, страдали, радовались...

И вот ничего и никого им не надо, все для них остановилось, и сколько бы ни ломали головы живые, чтобы понять и объяснить себе смысл смерти, — ничего у них не выходит. Сколько бы ни винились, все не кончается вина живых перед покинувшими земные пределы людьми.

Весной на кладбище сжигали мусор, и поднимись же ветер на ту пору — и пошли палы по могилам и крестам. Все, что было деревянное, — сгорело, на железном сожгло краску. Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму, под снег, ржавели оградки и памятники, пустовали могилы — снег упрятал головешки под собой, накрыл белым саваном — к месту слово пришлось, — совсем уж скорбным саваном приют человеческой юдоли и печали.

Пламя побывало и на могиле Сошниных, оплавило краску на ограде, выжгло фотокарточки в полукруглых отверстиях. Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия, вбил в землю скамейку, но фотографии новые не вставил. Зачем они? На прежних фотографиях женщины молодые, мало похожие на тех, которых помнил Сошнин. В войну маме некогда было фотографироваться. Тетя Лина после колонии не в фотографию правилась, а, тайно от него, от Леонида, в церковь. Незачем тешить фотографиями чужих и равнодушных к ним людей — показухи и без кладбищ хоть отбавляй. Он помнит маму, но больше тетю Лину, любит их, скорбит по ним, мучается, как и все люди, в груди которых еще есть сердце, за то, что жив, а они лежат так близко — рукой можно достать, и в то же время столь далеко, что уж никогда и никто их не достанет, не увидит, не обидит, не развеселит, не толкнет, не обругает. И небо, так ярко засиявшее от беззаботного, никого не греющего солнца, к ним отношения не имеет — они в земле лежат, снизу у них земля и над ними земля, давно уж, наверное, раздавившая их, вобравшая их тлен в себя, как вбирала она и до этого миллионы и миллионы людей, простых и гениальных, черных и белых, желтых и красных, животных и растения, деревья и цветы, целые нации и материки, — земля и должна быть такая: бездушная, немая, темная и тяжелая. Если б она умела чувствовать и страдать, она бы давно рассыпалась и прах ее развеялся бы в пространстве. Вбирая в себя то, что она родила, вбирает она и горе человеческое, и боль, сохраняя людям способность жить дальше и помнить тех, кто жил до них.

— Ну, простите меня, мама, тетя Лина, — сняв шапку, низко поклонился Леонид и отчего-то не смог сразу распрямиться, отчего-то так отяжелило его горе, скопившееся в нем, что сил не было поднять голову к яркому зимнему солнцу, сдвинуться с места.

Наконец он почувствовал головой холод, обеими руками нахлобучил шапку и, уже не оглядываясь, длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу кладбища, боясь выплюнуть откашлянную мокроту в кладбищенский снег.

У выхода со старого кладбища он заметил две фигурки: одна в приталенном пальтишке, в песцовой шапке, пританцовывает, бьет сапогом о модный сапог, другая фигурка малая, с большой круглой головой-одуванчиком — слава богу, догадалась закутать ребенка в тети Линину пуховую шаль, в валенках с галошами, в деревенских рукавичках из овечьей шерсти, в неповоротливой шубе, стоит, смешно оттопырив руки. Чтобы не дать ход пустому разговору: «Опоздали на автобус, все машины ушли, мы с нового кладбища сюда, на всякий случай...» — Сошнин с ходу поднял Светку, прижал ее к себе. Она молча и крепко обняла отца за шею, приникла к его уху ртом, осторожным теплом в него дышала.

Почему-то он шел сердито, или так казалось Лерке, больше обычного хромал, и ботинки, полные снега, мерзло чирикали на стеклянистой полознице дороги. Не зная, что сказать и сделать, Лерка внезапно стала дразнить его про себя жестокой детской дразнилкой: «Рупь-пять — где взять? Надо за-ра-бо-тать! Рупь-пять, где взять...» «Что это я? Совсем уж рехнулась? Вовсе одичала? — остепенила она себя. — У него ж с ногой, видать, совсем неладно, не может грубые милицейские сапоги носить...» Лерка покорно зачастила ногами позади мужчины, и у нее тоже начали почирикивать сапоги.

«Куда ты?» — хотела она запротестовать, запоперечничать, когда Сошнин свернул от кладбища к спуску, ведущему в железнодорожный поселок, но он же заорет, непременно заорет: «Домой! Нечего шляться по чужим углам!» — и потом у них там, в седьмом доме, — поминки, может, помочь надо тете Гране и Викторине Мироновне. Да мало ли что — дни у него трудные, хлопотные были последние, и работа с Сыроквасовой, и какие-то хулиганы на него нападали — все-то на него кто-нибудь нападает, и вообще живет он все время какой-то напряженной жизнью. Зачем так? Сколько свежих могил на новом кладбище! Черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто. Зачем люди укорачивают себе жизнь? Зачем торопят друг дружку туда? Надо наоборот. Надо как-то совместно преодолевать трудности, мириться с недостатками...

— Тебя где носит? — зашипела на Леонида тетя Граня, как только брякнула за ним гиря в седьмом доме. — Второй черед надо садить за стол, каки-то ветераны затесались, пробуют песняка драть...

— Я-то тут при чем, тетя Граня?

— Забирай их! Выметай! Чтобы людям не мешали...

— Я не служу в милиции, тетя Граня.

— Ну дак че? Кому-то надо все одно наводить порядок! Хозяин-то наелся, никово видеть и слышать не хочет, по мамочке горюет.

Тетя Граня отчего-то была непривычно сердита, почти зла. Скорей всего, от работы в Доме ребенка. Судьбы и жизни детей, исковерканные еще при рождении дорогими мамулями и папулями, наверное, не очень-то расспропливают сердце, они ожесточают даже таких святотерпцев, как тетя Граня. Одна мамуля совсем уж хитро решила избавиться от сосунка — засунула его в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале. Хорошо, что вейские милиционеры знают всех бывших и здравствующих специалистов по замкам, и один матерый домушник, живший рядом с вокзалом, мигом открыл сундучок камеры, выхватил оттудова сверток с розовым бантиком, поднял его перед негодующей толпой. «Девочка! Крошка-дитя! Жись посвящаю! Жись! Ей! — возвестил домушник. — Потому как... А-а, с-су-ки! Крошку-дитя!..» Дальше говорить этот многажды судимый, ловимый, садимый страдалец не смог. Его душили рыдания. И самое занятное — он действительно посвятил жизнь девочке, обучился мебельному делу, трудился в фирме «Прогресс», где и отыскал себе сердобольную жену, и так ли они оба трясутся над девочкой, так ли ее лелеют и украшают, так ей и себе радуются, что хоть тоже в газету о них пиши заметку под названием «Благородный поступок».

Сошнин раскутал Светку, поставил кастрюльку с супом на плиту, зажег бумагу, начал толкать в печку дрова. Светка посидела возле дверцы плиты на низенькой табуретке, взяла веник и стала подметать пол.

Лерка стояла, опершись спиной на косяк, и глядела в дверь средней комнатушки, из которой виден был угол зловещего «гардеропа». Хозяин не приглашал ее раздеваться, проходить. Пошвыривал дрова. Она, его «примадонна», так ни разу ни с одним мужчиной больше и не была, боится раздеться, «одомашниться». Ей нужно будет время заново привыкать к нему и к дому, перебарывать свою застенчивость или еще что-то там такое, не всякому дураку понятное.

— Я пойду туда, — кивнул Леонид на дверь головой. — Надо. Ты, Свет, похлебай горячего супу, хочешь — почитай, хочешь — поиграй, хочешь — телевизор включи. Не знаю, работает ли? Я его давно не включал...

Светка перестала водить веником по полу, исподлобья глядела на него, потом перевела глаза на мать. Лерка молча отстранилась от косяка, пропуская Сошнина в дверь.

Под лестницей серой, пепельной кучкой лежало что-то в расплывшейся луже. «Урна!» — догадался Сошнин. На свадьбы и торжественные гулянки ее уже давно не пускали, но с поминок прогонять не полагается — такой обычай. Наш тоже. Русский.

«Эй! — вскипело в груди Сошнина. — Эй, жена! Иди полюбуйся на мою полюбовницу!..» — хотел он уязвить Лерку напоминанием о давнем скандале и тут же «осаврасил» себя — словцо Лаври-казака пришлось к разу. «Со-овсем ты, Леонид Викентьич, с глузду съехал, как говорят на Украине, совсем! Скоро злом изойдешь, касатик!..»

А-ар-р-рдина не да-аррам да нам стр-рана вручила,
Ето знает кажный наш боец...
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов,
Мы готовы к бою, Сталин — наш отец...

Подпершись рукою, вполголоса вел за столом Лавря-казак, дядя Паша, старец Аристарх Капустин, соседи, многочисленные «воспитанники» бабки Тутышихи и просто знакомые люди подвывали в лад ветеранам, промокая глаза комочками платков.

Игорь Адамович лежал ниц на материной кровати, в пиджаке, в начищенных ботинках, не шевелясь, не подавая голоса. Викторина Мироновна вопросительно и тревожно взглядывала в его сторону, вежливо потчуя гостей. У торца стола, в выдающийся костюм, в заморскую водолазку и шелковый парик наряженная, торчала нелепая и всем тут чужая Юлька. Она поймала взглядом вошедшего Леонида, потерянно ему улыбнулась:

— Сюда, дядь Леша, сюда, пожалуйста!

Певцы примолкли было при появлении Леонида, но он, присев к столу, без ожидаемой строгости молвил:

— Пойте, пойте. Ничего. Баба Зоя легкого характера была, любила попеть...

— Ой, бабушка, бабушка! — диким голосом закричала Юлька и упала на плечо Леониду.

Он ее погладил по съехавшему на ухо, не по ее малой глупой голове сделанному парику и со скрипом прокашлял чем-то вдруг передавленное горло.

Пришла Лерка. Сошнин пододвинулся, освобождая место подле себя на плахе, положенной на стулья вместо скамьи и покрытой облысевшим ковриком, принесенным Викториной Мироновной из дому.

— Царство небесное милой бабушке, — потупясь, произнесла Лерка, зачерпнула ложечкой кутьи из широкой вазы, подставив ладонь, пронесла ее до рта и долго жевала, не поднимая глаз.

Тетя Граня закрестилась, заплакала; зашмыгали носами, заутирались женщины-соседки, кто-то сказал привычное, к чему никогда и никому не привыкнуть: «Вот она, жизнь-то, была и нету». Никто не продолжил, не поддержал скорбный разговор, и петь больше не пробовали, не получалось ни долгой душеочистительной беседы, ни песен расслабляюще грустных, располагающих людей к дружеству и сочувствию.

Ночью Сошнин лежал не шевелясь на свежезаправленной постели. Близко, за тонкой перегородкой посвистывала носом Светка, простудившаяся на кладбище. Несмело прижавшись к нему, спала Лерка. Четко работали-стучали старые часы на стене в деревянном ящике — их любила заводить ключом Светка. Леонид все забывал их заводить, и уже через сутки после разрушения семейного союза часы, упершись гирей в деревянный пол, замолкали, делалось тихо, время останавливалось в четвертой квартире. Он стал думать,

откуда и каким образом попались в пролетарскую квартиру такие старинные, снова сделавшиеся модными и ценными часы — опять пошла мода на старину. Но ничего ни вспомнить, ни придумать не смог, и вообще думать ему ни о чем не хотелось — редкий, пусть и настороженный, покой был в его жилище и в сердце. Он понимал, что надо как-то налаживать свою жизнь, разбираться в ней и, прежде чем вплотную засесть за письменный стол, по-новому, вдумчивей и шире, что ли, осмыслить все, что произошло и происходит с ним и вокруг него, научиться смотреть на людей и понимать их не так, как прежде, глазами зоркого и беспощадного опера, а человека иного предназначения. На работе, там просто было «сортировать» алкашей, бабников-разведенцев, жуликов, мелких и больших воров — «паханов» и «цариц», сутенеров и рвачей, вокзальных и чердачных обитателей, бичей, перекати-поле вербованных. Но ведь это лишь верхний слой... Или нижний? Пыль на подоконнике, а за окном, по-за стеклами идет, бредет, бежит, живет, пляшет, веселится, плачет, ворует, отдает последний кусок хлеба, жертвует фамильными ценностями и собой, рождается и умирает всякий разный народ, много народу, много земли, много лесу...

«Много лесу, много лесу, много вересиночек...» Он так и уснул, не успев до конца вспомнить частушку, слышанную в деревне Полевке. Хорошая, складная частушка — народное творчество.

Спал он сперва спокойно и крепко, но потом привязался и начал мучить его кошмарный сон: по весеннему, рассосанному льду, замусоренному рыбаками, испятнанному сверлами, приплясывая, ходила девочка в красной шапочке. Лед от того и другого берега отсоединен заберегами, вот-вот тронется река, и никого на льду, ни одной души, кроме девочки. Леонид смотрел, смотрел на девочку и узнал Светку, хотел заорать, но в это время река тронулась, начало ломать, разводить льдины. Сошнин бежал вдоль берега, точнее, пробовал бежать, да не бежалось. Звал Светку — воздуху на громкий крик в груди не хватало. И тогда он бросился в реку, стал разбивать лед кулаками. Лед не разбивался. «Ты его доской, доской», — послышался голос Феди Лебеды, и откуда-то взялась доска. Леонид крушил лед доской, рвался к Светке, больно натыкаясь грудью на острие льдин, все глубже забредая в кипящую мутную воду. «Хорошо, хоть не холодная. Сток. Горячий сток с шинного завода, вот и не холодная». Он пробился-таки к девочке, протянул руку, но в это время льдина лопнула на несколько частей, беспечно смеющуюся девочку закружило, понесло уже не на льдине, на тетрадном листе, в углу которого стояла красная двойка, понесло в небо, во тьму, проколотую звездами. «Да это же тот свет!» — догадался Леонид и, как ему казалось, во все горло заорал: «А-а-а!» — на самом же деле лишь замычал и, подпрыгнув в постели, проснулся.

— Ты че? — прошептала невнятно Лерка.

— Спи. Спи. Ничего. — С облегчением перевел он дух и прижал ладонью Лерку к постели и не отпускал до тех пор, пока не занемела от неподвижности рука. Затем поднялся попроведать дочку. Слягав одеяло, уронив подушку, руки и ноги вразброс, девчушка доверчиво обняла бабы Линин старинный сундучок, сотворенный вятскими умельцами и с малолетства обогретый ее тельшком, а до нее сундучок этот обживали, грели, хранили в нем подвенечные платья, нехитрое деревенское приданое, клубки, платки, узелки с серебрушками и леденчиками, половички, скатерти, кружева дальние родственницы Светки, которых она никогда не видела, не знала и уж не увидит и ничего о них не узнает... «Что уж тут болтать о связи времен. Порвалась она, воистину порвалась, изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем и, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки...»

Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сошнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, в воскрешающей, животворящей, печали, и, когда очнулся, почувствовал на лице мокро, и не устыдился слез, не запрезирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело.

Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку.

Муж и жена. Мужчина и женщина. Сошлись. Живут. Хлеб жуют. Нужду и болезни превозмогают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастят, себя и его замают.

Не самец и самка, по велению природы совокупляющиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтоб помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. От родителей-то они были переданы друг дружке всяк со своей жизнью, привычками и характерами — и вот из разнородного сырья нужно слепить ячейку во многовековом здании под названием Семья, как бы вновь на свет народиться. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни. Муж с женою. Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, не подозревавшие даже о существовании живых пылинок, вращающихся вместе с Землею вокруг своей оси в непостижимо громадном пространстве мироздания, соединились, чтоб стать родней родни, пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя и их, пройти вместе до могилы, оторвать себя друг от дружки с никому не ведомым горем и страданием.

Экая великая загадка! На постижение ее убуханы тысячелетия, но, так же как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, импе-

рнях, в обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именующий себя людьми.

Но в современном торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде, жена опять же хорошего, лучше бы — очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле — семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах, надо полагать, ведают, что и хороший мужик распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и погрузить на дно морское. Проще это простого. Вот как бы до нее, до простоты той, доскрестись на утлом семейном корабле, шибко рассохшемся, побитом житейскими бурями, потерявшем надежную плавучесть.

«Муж и жена — одна сатана», «Мужу жена до гробу дана» — вот и все мудрости, которые помнил Леонид об этом сложном предмете.

«А ну-ка, что у товарища Даля?» Он осторожно начал перелазить через Лерку. Привыкшая спать со Светкой, караулящая каждое ее движение и шевеление, слышащая даже дыхание своего единственного дитяти, Лерка, не просыпаясь, захлопала рукой рядом.

— Ты че? — снова спросила сонно и глухо.

— Спи, спи. Ничего, — снова негромко отозвался Леонид, прикрывая ее простыней. — Я печку подтоплю. Светке холодно.

И он затопил печку, хотя в квартире было не холодно, посидел возле открытой дверцы, подышал сухим теплом, посмотрел на красиво, на бодро танцующее пламя и отправился к столу, косясь на вольно раскинувшуюся, в волосах себя запутавшую Лерку.

Над письменным столом, когда-то забракованным по дряхлости в технической конторе станции Вейск и безвозмездно отданным тете Лине, прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборники стихов и песен. Среди них зеленым семафорным светом горит обложка книги «Пословицы русского народа». Молодой литератор и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел: «Муж — жена» занимал двенадцать широченных книжных страниц — молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве.

«Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи». «Разумно, очень разумно и дельно!» — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота зубоскалить: «Смерть да жена — богом суждена», «Женитьба есть, а разженитьбы нет», «С кем венчаться, с тем и кончаться», «Птица крыльями сильна, жена мужем красна», «За мужа завалюсь — никого не боюсь».

«Ага! Как же! — не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. — Познакомить бы вас с современной женщиной!» Он непроизвольно покосился на Лерку. «Жена не сапог, с ноги не скинешь». «Что верно, то верно», — длинно выдохнул Сошнин и водворил книгу на место.

И без словаря одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, порешил он. «Семьи рушатся и бабы с мужиками расходятся отчего? — вопрошала бабка Тутышиха, сама себе давая ответ. — А оттого, что спят врозь. Дитев и друг дружку не видют неделями — чем им скрепляться? Мы, бывало, с Адамом поцапаемся, когда и подеремся — но муж с женою хотя и бранятся, да под одну шубу ложатся! Ночью-то, бывало, Адамка на меня ручку нечаянно положит, я на ево — ножку от жары закину, и, глядишь, замиренье, спокой да согласье в дому...»

«И то правда, — вздохнул Сошнин. — Бабка решала сложные задачи без дробей, простым, но точным способом».

Леонид постоял среди комнаты, погладил себя по голове. Из-за «гардеропа» начинал просачиваться слабый свет. «Однако гробину эту все же придется рубить на дрова, — погладил он облезлое сооружение. Оно, будто старый пес, шершавым языком цеплялось за пальцы, приятельски покалывало ладонь. — Ничего не поделаешь, друг. Современный быт требует жертв! Ничто новое без жертв у нас не создается и не излаживается», — виновато усмехнулся хозяин четвертой квартиры.

Рассвет сырым, снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда насладившийся покоем среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему не ведомой уверенности в свои возможности и силы, без раздражения и тоски в сердце Сошнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не крякал, потянулся к давней и тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним.

1982—1985
Овсянка — Красноярск

ТЕЛЬНЯШКА С ТИХОГО ОКЕАНА

Александру Михайлову

Молодой мой друг!

Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошеле, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам и еще живую, трепещущую посыпали солью...

Я все чаще и чаще на старости лет думаю о назначении нашем, иначе и проще говоря — о житухе нашей на земле, которую мы со всеми на то основаниями, для себя, назвали грешной. Грешники иначе и не могут! Сажей и дерьмом вымазанный человек непременно захочет испачкать все вокруг — таков не закон, нет, таков его, человека, норов или неизлечимый недуг, название которому — зло.

И вот думал я, думал, и о тебе тоже, губящем самое неразумное, самое доверчивое из всего, что есть живого на земле и в воде, и пришел к такому простому и, поди-ка, только по моим мозгам шарахнувшему выводу: а ведь неразумные-то, с нашей точки зрения, существа как жили тысячи лет назад, так и живут, едят траву, листья, собирают нектар с цветов и планктон в воде, дерутся и совокупляются для продления рода, в большинстве своем только раз в году. Та же рыбка прошла миллионолетний путь, чтоб выжить, выявить вид свой, и те, кому, как говорится, не сулил бог жизни, умирали от неизвестных нам болезней или, употребляя любимые тобой «ученые» выражения, — от катаклизмов. Они пришли к нам по суше и по воде уже вполне здоровыми, приспособленными к той среде, какую выбрали себе для своего существования.

И не нам, самодовольным гражданам земли, жующим мясо, пьющим кровь, пожирающим красивые растения, подкапывающим корни, из ружей сбивающим на лету и во время свадебного токования вольных птиц, невинных животных, да еще и младенцев ихних, да хотя бы и ту же рыбу, не нам, губящим самих себя и свое существование поставившим под сомнение, высокомерно судить «окружение» наше за примитивную, как нам кажется, жизнь и отсутствие мысли. Одно я знаю теперь твердо: они, животные, рыбы и растения, кого мы жрем и губим с презрением за их «неразумность», — без нас просуществовали бы на земле без страха за свое будущее, а вот мы без них не сможем.

Но быть может, ты уже со своей бригадой вытряхнул из трала добычу, равнодушно присолил ее, стаскал в трюмы и лежишь на своей коечке-качалочке, убитый сном иль перемогая нытье в пояснице и натруженных руках, думаешь о своей повести и проклинаешь меня: была ведь повесть-то одобрена в журнале «Дальний Восток», ее давно бы напечатали в Хабаровске и, знаю я, похвалили бы за «достоверность материала», за «суровое, неприукрашенное изображение труда рыбаков», даже и прототипа одного или двух, глядишь, угадали, и в Москве переиздали бы книжку...

Эвон как хорошо все началось-то! Дуй смело вторую повесть, проторивай путь к третьей, вступай в члены союза, высаживайся на берег и живи себе спокойно, пописывай, плоди и плодись. Отчего-то ваш брат с неспокойного-то места, под названием МОРЕ, мечтает о покое, а наш брат, сидящий на безмятежном берегу, все «просит бури, как будто в бурях есть покой»?!

Ты клянешь меня или нет? По последнему письму видно — сдерживаешься изо всех сил, чтоб печатно не облаять. А мне хоб что! Я вот за письменным столом, в тепле сижу, за окном морозное солнце светит, крошатся в стеклах лучи его, на тополе ворона от мороза нахохлилась, смотрит на меня, как древний монах, с мрачной мудростью.

А пишу-то я тебе не с бухты-барахты, не для того, чтобы развеять твою скучную жизнь в пустынном океане. Ты хоть помнишь, как мы познакомились? Непременно надо вспомнить, иначе все мое письмо к тебе будет непонятным, да и ненужным.

Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Погода, точнее, отсутствие таковой, заклинила движение в отдаленном восточном порту. Народу, как всегда, скопище, еда и вода кончились, нужники работают с перегрузкой, и один уже вышел из строя; всякое начальство и даже милиция с глаз исчезли — такое уж свойство у нашей обслуги: как все ладно и хорошо — делать хорошее еще лучше, как плохо — улизнуть от греха подальше, все одно не поправить...

Я стоял средь унылого, истомившегося народа, опершись на «предмет симуляции» — так я называю палку с набалдашником, выданную мне еще в сорок четвертом году в арзамасском госпитале и суеверно мною берегомую, — износил уже, истерзал, разбил восемь протезов, но палка все та же.

Итак, значит, я стоял, налегши на здоровую, но уже онемелую, горящую от натуги ногу, в то время когда ты мирно спал, доверчиво навалившись на плечо, как позднее выяснилось, совершенно незнакомой девушке, сронившей шапку-финку к ногам, во сне растрепанной, некрасиво открывшей рот от духоты. От моего ли взгляда, но скорее по другой причине ты проснулся, обвел мутным взглядом публику и вокзал с отпотевшими от дыхания и спертого воздуха стеклами, с волдырями капель на потолке, под которым деловито чирикали и роняли вниз серый помет ко всем и везде одинаково дружелюбные воробьи.

Печатается с сокращениями.